

С ЛОВО Гоголь считал высшим божьим даром человеку. Потому и упреждал: «Беда произойдет его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом — в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа...»

Как деликатно сказано о том, о чем сегодня и думать-то позабыли! Слово, многократно усиленное в звуке микрофонами, обрело необычайно громкое эхо. И те, кто вольнее прочих владеет им — писатели, журналисты, — стеснились на трибунах, у микрофонов, в студиях телевизора да и на газетных полосах в намерении донести свое слово до миллионов (никак не менее!). Тут и сбивались разные, нередко и противоположные воззрения, тут и выливались свои аргументы и торжественные парламентские полемиты, тут и завязались большие и малые дискуссии, и начались размежевания, в ход пошли уже не только аргументы, но и всевозможные подножки оппоненту, унижения его в прошлых и настоящих грехах, унижение любыми способами вплоть до навешивания грубой и оскорбляющей человеческое достоинство ярлыков. Тут кончатся поиски истины, начинаются сведения счетов, война на истребление.

Древние говорили, что а чрезмерное противоборство истина тонет, а умеренный опыт многих приводит к истине. Теперь не только противоборство, а нередко вражда и ненависть помутили умы. На какой же этической основе искать истину? Да и красноречие — орудие обоюдостроения. Тут для крепости союзов на авторитет большого писателя. «Злоупотребление красноречием — это худое», — сказано в самой, наверное, жестокой книге нашего столетия «Архипелаг ГУЛАГ». Недаром автор ее, Александр Исаевич Солженицын, считает красноречие «болезнью» демократии.

Теперь кто на виду? Да тот, у кого хорошо поставлен голос, кто припас набор хлестких разрушительно-обличительных метафор, а то и элементарных лозунгов, кто умеет выпростать их из горла на удивление ли, на людном собрании. Такому охотнее подставляют микрофон, отводят место в газете, на телеэкране.

В словесных схватках последних лет — стена к стене — меряются силами «патриоты» и «прорабы перестройки». Самым этим хорошим словом враждующими сторонами придается оскорбительный-иронический смысл — так далеко зашло дело. А кроме того, перераспределены и совсем уж опасными словечками: «русификация», «антикоммунизм», «сионизм», «фашизм», «черносотенство». (Кстати говоря, и русофобия, и антикоммунизм одинаково примитивны, ибо отражают низменные чувства). Читатель, и оторвать берет: да что же такое происходит? В какое время мы живем? кому адресуются эти устрашающие ярлыки? Начиная приставлять к ним людей, на кого они направлены и кого знают, и протестом взрывается душа. Валентин Распутин. Перо отказывается выводить слова, которые пущены по свету сопроводить имя одного из самых совестных и редкостных вояд отставших в услужение человеку писателей. Да читали ли те, кто лепит ему дикие ярлыки, читали ли его книги и пытались ли понять, во имя чего, ради какой цели живет и мучается над словом этот человек?

Возьму в пример не литератора, а политического деятеля — А. Н. Яковлева (хотя как стилист он даст фору многим публицистам-литераторам). Давно знаю, а в последние годы слежу за его выступлениями. А. Н. Яковлев — остро мыслящий политик и ученый, один из конструкторов нашей внешней политики, где мы кое-чего достигли. Но не обходится ни одного выступления неустовых публицистов, начиная от журнала «Молодая гвардия» и кончая московской писательской многоглаголивой да и не только, конечно, их, где бы он не объявился в... антипатристических грехах. Не партийном съезде КПСС (а духе прежнего доносительства) была распространена клеветническая поддельная листовка против него. Да кто же такой Яковлев? Это солдат-офицер Великой Отечественной войны, Ярославский крестьянин, своим горбом и цепким мужицким умом проторивший дорогу к большой науке и к большой политике! Побойтесь бога, друзья народа, перестаньте придираться за прежде сказанные и, может быть, не всегда взвешенные слова Яковлева, почитайте то, что говорит человек сегодня. Он напоминает нам, что люди устали от споров и обвинений, от треска слов, от предупреждает о возможности утонуть «в омуте ожесточенности».

«В омуте ожесточенности» звучат другие речи. Я слушал приглашенного на собрание писательского «Апреля» народного депутата Н. Травкина, его призывают создать антикоммунистическую партию. Внешне, на уровне уличного митинга, это было эффектно. Но это никак не воспринималось в контексте культуры или даже как политическая речь. Это было красноречие для толпы.

Не один я, многие теперь отмечают преобладание в публицистике обличительно-разрушительных мотивов. Идет расчет с прошлым, осуждение. Процесс неизбежен, необходимый. Да вот что разочаровывает: чем яростнее критика прошлого, чем эмоциональнее, забрызганнее, чапливнее обвинение ему, тем больше затухает неумение ответить на вопрос: что делать!

Но и виднее зато, что на критике найти политический капитал стало легко, а вот созидательных, государственных идей — дефицит. Мелкая возня у микрофонов — что на митингах, что в парламенте — уже вызывает аллергию. И не пора ли ленивые умы отвлекать от свары, остановиться, передохнуть, задуматься, осмыслиться: левая, правая где сторона? Может, по прямой идти — вернее! Может, прав Гораций:

Этот налево идет, этот направо, но только блуждают Оба они одинаково, хоть в направлениях разных.

Страшно становится оттого, что, втянувшись в непримиримую полемику, мы оказались бездны мрачной к краю. Поблизе бы к середине, к центру — устойчивей. Как в лодке на большой волне. Ю. Нагибин охарактеризовал центр как «болото», добавил: «А я люблю сушу, определенность». Поэтому не хочет быть официально «неприсоединившимся» («ЛГ», 4 апреля 1990 г.). В рассуждениях Юрия Марковича есть противоречия, но не столько споря с ним, сколько стесняя на вопросы после пуб-

ликация заявления о создании сообщества неприсоединившихся, независимых писателей, хочу дать разъяснение. В заявлениях как раз отвергается официальное вступление в сообщество, официальное членство, подчиняющееся деятельности каждого члена-то обществу, а проще говоря — групповой дисциплине. Что же касается центростройки, серединной опоры сообществу, то уж никак нельзя сравнивать ее с «болотом». Тут я согласен с А. И. Солженицыным, сказавшим об этом так: «Гружнее всего прочувствовать среднюю линию общественного развития: не помогает, как на краях, горло, кулак, бомба, решетка. Средняя линия требует самого большого самообладания, самого твердого мужества, самого расчетливого терпения, самого точного знания».

Сегодня-то, когда в ход пущены и горло, и кулак, и — угу! — бомба (не приведи господь — дойдет до решетки, коли не останемся!), центровка, серединная позиция и есть как раз самая суть. Любителям ходить по краешку можно посоветовать делать это в одиночку. Гуртом лучше держаться посерединке, да

Ал. Михайлов

# Слово без микрофона

при этом не оттирать плечом идущего рядом. И уж определяться на серединной позиции надо быть готовым к санкциям — как слева, так и справа. Знаю. Почувствовал. Тут не устарел «демократический» лозунг: кто не с нами — тот наш враг».

Как это ни трудно сегодня, когда душа увлечена столькими невладами, когда каждый день ставит перед нами необходимость выбора, надо остановиться, отдохнуть, подумать о себе: безгрешен ли ты есть сам? Не нами сказано: несть человеку, аже поживает и не согрешит. Только осознание своей греховности — но и своего достоинства! — дарует человеку свободу и радость прощать обидчика. Как было на войне? Были по немцам (и они — по нам!) из всех камбров артиллерии, сбрасывали бомбы на города, переправы; остальные, арывались в траншеи и решетки из автоматов, забрасывали гранатами. Но, пленя одного, двух, тысячи, не позволяли грубого обращения. Блюди достоинство. Спросите у тех немцев, что побывали у нас в плену.

А осознание своей греховности — первый шаг к покаянию. За долгую жизнь, которая в наш век промелькивает с несильной скоростью, далеко не сразу просматривались многие свои действия и поступки со стороны их последствий для других людей, да и со стороны личной то же. Восемь лет мне было, когда в нашу деревню приехал миллионер разорять закрытую уже церковь. Ее надо было освободить под мастерские. Утвари церковной в ней уже не осталось, об этом, видно, позаботились раньше, мешал иконostas: его надо было заменить плакатами и кулачочными лозунгами о мировой революции, о победе коммунизма. В помощь милиционеру никто из мужиков не вызвался. Тогда он обратился к учителю и вместе с ним — к нам, ученикам 1—2-го классов (выше и не было): вы, мол, советские школьники, сознательные, знаете, что бога нет, религия — опium для народа, поэтому помогите освободить церковь от пережитков темноты, вынести и спалить на костре иконы. За «работу» пообещал пять рублей.

Признаться в своих сомнениях насчет бога друг перед другом да и перед учителем никто не пошел, пошли в церковь. Милиционер недалеко от паперти развел костер, и мы трясущимися от страха руками творили дьявольское дело — кидали в костер срывающиеся иконostas образа. Бабушки наши стояли невдалеке, осеняли себя крестным знаменем, охали и ахали, пугали нас карой божьей, иные даже пытались отобрать иконы, а мы, подавая страх, тайно взглядывая на небо — не разверзлось ли уж оно, не посылает ли на нас боженька гром и молнию! — торопливо, под руководством учителя, завершали духовный разбой.

После, уже в школе, милиционер приободрил нас, учитель тоже произнес речь, сказал, что из нас вырастут бесстрашные борцы за мировую революцию, а на пять рублей всех записал в члены МОПРа (Международное общество помощи борцам революции) и выдал красные книжечки с изображением узника за решеткой на обложке. Вечером я долго не мог появиться дома...

САМОЕ поучительное и, может быть, трагическое в жизни многих из моего поколения, а уж мой — в точности, это то, что я лишь десятилетия спустя, клонясь к старости, начал задумываться об этом, а теперь кожей, нутром почувствую свою непоправимую вину перед верующими и перед богом, потому что в душах верующих надругался над ним.

Я как-то говорил и уж не раз, что нашему поколению, вернее малой его части, вышедшей из войны, не хватало здорового скептицизма, что трезвый взгляд на себя, на прошлое заслоняла победительная эйфория, хотя и было понимание слишком большой силы, которую оплечена победа (вот почему двусмысленно звучат слова песни: «Но нам нужна всего одна победа, мы за ценой не постоим»). Может быть, я ошибался, говоря от имени поколения. В. Кондратьев, например, уже в 1946 году начал прозревать, когда Сталин назвал нас «винтиками», еще до XX съезда партии во многом разобрался и вообще не «умирал от любви к советской власти» («ЛГ», 1990, № 5).

У меня нет оснований не верить в искренности Кондратьева, но думаю, что в своих прозрениях он был скорее исключением, чем правилом. Скажу про себя, еще довоенного, но веру в «вождя народов» сохранившего и после войны. Когда на бюро райкома не приняли в

комсомол, потому что мой дядя, бывший боец Красной Армии, в это время был осужден по знаменитой 58-й... тут же возникло желание написать товарищу Сталину, дать клятву верности Родине, партии, комсомолу... Не написал. Проглотил обиду: мол, докажу на деле.

Говорят, что никто не бывает счастливым, не согрешив, но грех греху — рознь. Да и где та мера, которую меряют грехи! Почему я тогда подумал не о дяде, зная, что он пострадал безвинно, зная в лицо самого ничтожного в деревне человека, оклеветавшего его, — а о себе, почему на вопрос секретаря райкома: «Это правда, что твой дядя — враг народа?» — я ответил: «Да? Почему хотя бы в душе не возникло протеста против несправедливости к дяде и прежде подумалось о себе? Может быть, у пятидесятилетнего уже случился паралич воли? Ведь до этого слышал на допросы отца, прослушившего несколько месяцев в белой армии, был послан один день, второго лишили прав. Может быть. Я помню холодно в спине после вопроса секретаря райкома и помню, как дрогнул голос, выталкивая из горла подлое «да»...

впечатление, что и он не обуян радикальными идеями и тем более — идеей реванша за прошлое.

Хочу также процитировать хотя бы одно место из статьи писателя, который много страдал, будучи отторгнут от общества, лишен права печататься у себя на родине, из статьи Феликса Светова: «Мы — одна страна, один народ, одно тело. И страдания у нас общие, и трагедия общая, и вина у каждого, и надежда одна: она в преодолении разделения, в единстве» («ЛГ», 23.05.90).



Сам Максимов то ли отказался присутствовать на этом разбирательстве, то ли его не пригласили. Как мне сказал Аксенов, они вместе с кем-то еще ожидали «приговора» в кафе Дома литераторов.

У меня с Максимовым были хорошие товарищеские отношения, я хорошо знал о его бедственном положении в литературе, знал о том, как в свое время он отказывался от всех предложений печататься на Западе, хотя у себя на Родине не мог напечатать ни строчки. Выступил и рассказал об этом (наверное, стенограмма хранится в архиве). Слушали с холодом, отчужденно. Поставили на голосование предложение об исключении: я, единственный, воздержался. Слабо, конечно, но — если бы хоть так!

После голосования пригласили Максима, чтобы огласить решение. Вошел Максимов, сестра отказалась, стоя выслушал Нарочетова, зачитавшего короткое постановление. Максимов не выглядел ни затравленным, ни озлобленным, сохранил достоинство. Обвел взглядом длинный стол, за которым, отводя глаза, сидели секретари, и очень четко, но как бы и с сожалением, произнес: «Все вы тут захребетники». Повернулся и вышел.

Наступила гнетущая пауза. Засуетился над бумагами Нарочетов. Обратившись к нему, я сказал: «Считаю, что я тоже — за». Обиделся. Недостало высоты духа, чтобы понять Максима, чтобы подняться над собой... Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты! Но скорбно думать, что это блаженство многие люди начинают испытывать еще в далеком приближении к земному пределу, не принуждая себя нести крест до гроба.

Нынче не всем по душе пришлось миролюбие Владимира Максимова, кому-то хотелось приклонить его влево, кому-то — направо, а он — сам по себе, и все старания интервьеров — в газетах, на телевизионе — сдвинуть Максима с его позиции оказались тщетными.

Дождемся ли хотя бы относительного мира и относительной тишины? Все еще лютуют митинговые ораторы, газетные публицисты, словно подогриваемые командой: «Левой! Левой! Еще левей!». Или уж (чего так чиниться!), подняв над головой портрет Николая Романова, призывая на русский престол наследника. Тут и впрямь подумаешь: «Какое, милье, у нас тысячелетие на дворе!» Впрочем, если отрешиться от повседневности, посмотреть на сегодняшние словесные баталии в пространстве хотя бы небольшого отрезка истории, то и хорошо, что выявились края, стали видны вся панорама сражения и слабость тылов на краях, слабость обеспечения провиантом. Стало быть, и поиски согласия облегаются. Все клонится к одному.

...Мое поколение — победителей во второй мировой войне — к нынешнему времени доживает свой век как униженное. С болью и грустью смотрю я в майские дни на стариков-ветеранов и вижу в них свое отражение. Вижу, как приободрились, Брента медалими, еще высверкаивают они глазами, еще распрямляют сутулые спины — и расходятся, чтобы, опавши в плечах, с потухшим взором, остальные дни года выслушивать разраженные реплики, а то и брань в очереди, где пытаются воспользоваться жалкими привилегиями, которые даровало им благодарное Отечество. Толкуются в поликлиниках и аптеках, где нет лекарств, хрюкают и чертятносятся, сидят у телевизоров: за что боролись!

Уже не всем по душе пришлось миролюбие Владимира Максимова, кому-то хотелось приклонить его влево, кому-то — направо, а он — сам по себе, и все старания интервьеров — в газетах, на телевизионе — сдвинуть Максима с его позиции оказались тщетными.

Дождемся ли хотя бы относительного мира и относительной тишины? Все еще лютуют митинговые ораторы, газетные публицисты, словно подогриваемые командой: «Левой! Левой! Еще левей!». Или уж (чего так чиниться!), подняв над головой портрет Николая Романова, призывая на русский престол наследника. Тут и впрямь подумаешь: «Какое, милье, у нас тысячелетие на дворе!» Впрочем, если отрешиться от повседневности, посмотреть на сегодняшние словесные баталии в пространстве хотя бы небольшого отрезка истории, то и хорошо, что выявились края, стали видны вся панорама сражения и слабость тылов на краях, слабость обеспечения провиантом. Стало быть, и поиски согласия облегаются. Все клонится к одному.

...Мое поколение — победителей во второй мировой войне — к нынешнему времени доживает свой век как униженное. С болью и грустью смотрю я в майские дни на стариков-ветеранов и вижу в них свое отражение. Вижу, как приободрились, Брента медалими, еще высверкаивают они глазами, еще распрямляют сутулые спины — и расходятся, чтобы, опавши в плечах, с потухшим взором, остальные дни года выслушивать разраженные реплики, а то и брань в очереди, где пытаются воспользоваться жалкими привилегиями, которые даровало им благодарное Отечество. Толкуются в поликлиниках и аптеках, где нет лекарств, хрюкают и чертятносятся, сидят у телевизоров: за что боролись!

Уже не всем по душе пришлось миролюбие Владимира Максимова, кому-то хотелось приклонить его влево, кому-то — направо, а он — сам по себе, и все старания интервьеров — в газетах, на телевизионе — сдвинуть Максима с его позиции оказались тщетными.

Дождемся ли хотя бы относительного мира и относительной тишины? Все еще лютуют митинговые ораторы, газетные публицисты, словно подогриваемые командой: «Левой! Левой! Еще левей!». Или уж (чего так чиниться!), подняв над головой портрет Николая Романова, призывая на русский престол наследника. Тут и впрямь подумаешь: «Какое, милье, у нас тысячелетие на дворе!» Впрочем, если отрешиться от повседневности, посмотреть на сегодняшние словесные баталии в пространстве хотя бы небольшого отрезка истории, то и хорошо, что выявились края, стали видны вся панорама сражения и слабость тылов на краях, слабость обеспечения провиантом. Стало быть, и поиски согласия облегаются. Все клонится к одному.

...Мое поколение — победителей во второй мировой войне — к нынешнему времени доживает свой век как униженное. С болью и грустью смотрю я в майские дни на стариков-ветеранов и вижу в них свое отражение. Вижу, как приободрились, Брента медалими, еще высверкаивают они глазами, еще распрямляют сутулые спины — и расходятся, чтобы, опавши в плечах, с потухшим взором, остальные дни года выслушивать разраженные реплики, а то и брань в очереди, где пытаются воспользоваться жалкими привилегиями, которые даровало им благодарное Отечество. Толкуются в поликлиниках и аптеках, где нет лекарств, хрюкают и чертятносятся, сидят у телевизоров: за что боролись!

Уже не всем по душе пришлось миролюбие Владимира Максимова, кому-то хотелось приклонить его влево, кому-то — направо, а он — сам по себе, и все старания интервьеров — в газетах, на телевизионе — сдвинуть Максима с его позиции оказались тщетными.

Дождемся ли хотя бы относительного мира и относительной тишины? Все еще лютуют митинговые ораторы, газетные публицисты, словно подогриваемые командой: «Левой! Левой! Еще левей!». Или уж (чего так чиниться!), подняв над головой портрет Николая Романова, призывая на русский престол наследника. Тут и впрямь подумаешь: «Какое, милье, у нас тысячелетие на дворе!» Впрочем, если отрешиться от повседневности, посмотреть на сегодняшние словесные баталии в пространстве хотя бы небольшого отрезка истории, то и хорошо, что выявились края, стали видны вся панорама сражения и слабость тылов на краях, слабость обеспечения провиантом. Стало быть, и поиски согласия облегаются. Все клонится к одному.

Уже не всем по душе пришлось миролюбие Владимира Максимова, кому-то хотелось приклонить его влево, кому-то — направо, а он — сам по себе, и все старания интервьеров — в газетах, на телевизионе — сдвинуть Максима с его позиции оказались тщетными.

Дождемся ли хотя бы относительного мира и относительной тишины? Все еще лютуют митинговые ораторы, газетные публицисты, словно подогриваемые командой: «Левой! Левой! Еще левей!». Или уж (чего так чиниться!), подняв над головой портрет Николая Романова, призывая на русский престол наследника. Тут и впрямь подумаешь: «Какое, милье, у нас тысячелетие на дворе!» Впрочем, если отрешиться от повседневности, посмотреть на сегодняшние словесные баталии в пространстве хотя бы небольшого отрезка истории, то и хорошо, что выявились края, стали видны вся панорама сражения и слабость тылов на краях, слабость обеспечения провиантом. Стало быть, и поиски согласия облегаются. Все клонится к одному.

Уже не всем по душе пришлось миролюбие Владимира Максимова, кому-то хотелось приклонить его влево, кому-то — направо, а он — сам по себе, и все старания интервьеров — в газетах, на телевизионе — сдвинуть Максима с его позиции оказались тщетными.

Дождемся ли хотя бы относительного мира и относительной тишины? Все еще лютуют митинговые ораторы, газетные публицисты, словно подогриваемые командой: «Левой! Левой! Еще левей!». Или уж (чего так чиниться!), подняв над головой портрет Николая Романова, призывая на русский престол наследника. Тут и впрямь подумаешь: «Какое, милье, у нас тысячелетие на дворе!» Впрочем, если отрешиться от повседневности, посмотреть на сегодняшние словесные баталии в пространстве хотя бы небольшого отрезка истории, то и хорошо, что выявились края, стали видны вся панорама сражения и слабость тылов на краях, слабость обеспечения провиантом. Стало быть, и поиски согласия облегаются. Все клонится к одному.

Уже не всем по душе пришлось миролюбие Владимира Максимова, кому-то хотелось приклонить его влево, кому-то — направо, а он — сам по себе, и все старания интервьеров — в газетах, на телевизионе — сдвинуть Максима с его позиции оказались тщетными.

А до конца ли боролись, дорогие сограждане и однополчане? Не рано ли положили, что, покончив с грозным напряжением, главное в жизни сделали, а теперь можно и не вылезать на бруствер, отсидеться в окопе, и если что не так, то пусть, мол, другие, кто помоложе, повоюют. А помоложе-то на нас смотрели: как же, герои! Спросили ли постороже себя, друг с другом?

Стоило в свое время Федору Александровичу Абрамову обратиться с жестоким вопросом к землякам: «Чем живем-кормимся?» — тут же с разных сторон посыпалось шипение: ишь на кого замахнулся — на мужиков-тружеников (мужиков-то не корили, когда они подписали письмо в газету, порочащее Абрамова за клеветническую повесть «Возврат да околело»), не с тех, мол, надо спрашивать, начальство во всем виновато.

Да нет, так не бывает. Не худо бы каждому долю вседержавного разора — взять каждому на себя: пусть уж потом небесная бухгалтерия разложит на проценты. А может, и не понадобится процентов. Молодым человеком погублен в сталинских лагерях — смерти Павел Васильев, поэт могучего таланта, но уже двадцатилазлетним, стоя у Носовичевых кладбища и глядя на купол монастырской церкви, с мудростью старца размышлял:

Блестит, не знавший лет преклонных, Монастыря литой шпак.  
Как страж страстей неутоленных И равенства печальный знак.

Нам с детства внушали, цитируя, как надо прожить жизнь, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное существование и чтобы, умирая, мог сказать... Мог сказать то, что обычно говорят на гражданской панихиде. Теперь кое-кто с ухмылкой напоминает эти ли, другие строки: вот, дескать, как отразилась в них идеология сталинизма... Какой вздор! Философия жизни и смерти сопутствует человеку во все времена. Этим насыщен фольклор. Великие умы билась в поисках разгадки, что есть человек в пространстве Вселенной. И Островский Николай позанимствовал сказанное у одного из старых мыслителей. И мы, грешные, воспринимали это всерьез. Да не до конца.

Утрата общечеловеческого ориентира, заслоненность его классовым, укорачивала мысли, это было бедой не только Островского, но целого послеоктябрьского поколения, и даже не одного, распространялось на следующие поколения мыслящих, пишущих, творческих. Мстить им за это, предавать анафеме, втягивая в наше толковище?

ДА ОТЧЕГО же мы так осатаенли-то делим? Ведь уже и делить-то нечего, все разбазарено, похищено, подвергнуто глумлению — в экономике, в культуре, в недавней нашей истории. Мста прошлему за гвал и мор, за пагубу миллионов людей и людских душ, мы забываем, что в это время народ жил, напрягая хребтину, хранил, как мог, очаг свой и семью, отоваял родную землю в бесперспективном смертоубийстве. На это бы и опереться, коли пошлели к краю. Честь и достоинство вспомнить и какова их цена. А уж на этой нравственной опоре, отбросив личные амбиции и обиды, примиряться, искать согласия, находить общее, ведь все же хотят одного — процветания нашего многострадального Отечества.

